

РОМАН В ПОВЕСТЯХ

12

Я ничего не скрывал от своих корешей, ни малейшей детали, ни единого страха. Уж не говоря о радостях разговоров, новых знакомств, рассуждений почти что на искусствоведческие темы — фотография, если еще кто-то не знает, настоящее и замечательное искусство.

Воленс-неволенс, но в самые сжатые сроки я познакомился со всеми серьезными фотокорами города и был изрядно обрадован их человеческим достоинством. Никто не выпендривался перед другими. Все были на ты, а как в каждой мужской компании тех лет, люди еще не отвыкли от военной формы, и иные ходили в гимнастерках, хоть и без погон и наград. Не полагалось срывать только нашивки за ранения. Почему, никто этого не знал и не обсуждал. Может, таким легальным образом раненые фронтовики отделяли себя от всех иных, безболезненно отслуживших остатки войны в тылу?.. Но эти фронтовики с нашивками требовали обращаться к ним исключительно на ты, собравшись у блестящего барабана, доброжелательно разглядывали съемки друг друга, были в курсе того, кто, куда и зачем на сегодня исчезает, и абсолютно друг к другу добры — вот что!

Иногда, особенно к концу дня, они где-то там, под красный лабораторный свет, потихоньку прикладывались, еще больше веселели и становились еще до-

брей. А меня так и просто полюбили и не по заслугам уважали. Я и действительно готовил второй обзор фотографической жизни Урала и, таким образом, имел полное право приходить сюда не только за разговорами, но и со своим скромным интересом: проявить пленку, мгновенно высушить, напечататься, да еще и карточки проглянцевать. Естественно, фотобумагу носил с собой. Таким образом, полегоньку-потихоньку я смастерил несколько уральских пейзажей, которые и тиснула «Засменка» при подаче Толи Пудоля и при слегка надменном согласии Эльзы Павловны.

Все это мое увлечение поможет и потом, позже, и хотя не главным образом, в частности, — но после еще одного сочинения на тему фотографических мастеров, а затем и еще одного, я как-то угас, хотя ни от чего не отрекся. Спасибо судьбе, но дружба с фотокорами всегда и во всех редакциях одаряла меня простотой, приятливостью и какой-то невелеречивостью.

Но мой первый взрыв как бы поставил меня на ноги. Я стал замечать, что взоры, направленные на меня, стали приобретать новые оттенки. Ну, во-первых, я разглядел упрочение прежнего простодушия и доброты. Они исходили от ветеранов — матроса тихоокеанского флота Яши, от Игорька Коробкина и примкнувшего к ним крепыша Генки Шидрина.

Минибай открыто и прямо желал встать на путь, аналогичный моему, получил от Пудоля производствен-

ное задание, с неделю, сразу после занятий, уезжал куда-то на трамвае, а потом яростно комкал бумагу в опустевших аудиториях. Когда я подходил к нему, он отставлял исписанные листки и чертыхался, повторяя: «Не идет! Не идет!»

Зато Джурка давал дрозда! Он отпрашивался в деканате и исчезал дня на два. Потом еще исчезал. И еще. Раз уж мы жили в одной комнате, тайна его вскорости раскрылась. Под руководством Пудоля он взялся написать три больших сочинения про разных молодых работяг. Одни строили высоченную заводскую трубу. Другие — мост через неслабую речку. Третьи конструировали какой-то механизм. В общем, это была целая трилогия.

— А может, тетралогия, — вполне серьезно горячился Скок. И мечтал: — Может, книжка получится!

Книжка! В своем язвительном доброжелательстве мы тут же приклеили Джурке кличку Голсуорси. Благо к экзамену по зарубежке следовало спешно одолеть многотомную «Сагу о Форсайтах», прочитать которую требовалось-то как раз не в спешке, а в медленности и раздумьях о лукавстве буржуазных ценностей.

Главное, свой Голсуорси, сочиняющий тетралогию о молодых трудящихся, у нас по крайней мере тоже обнаружился. Он внимательно расспрашивал про мои разработки трудов об уральских фотокорреспондентах, перечитывал «Советское фото» с моими обозрениями, хвалил глянцевые фотографии из-под горячего вала, украшавшего «Дом печати», и всякий раз как будто успокаивался. И без разъяснений было ясно, что мои достижения — слишком обыденная мелкота, а его интересуют люди, отношения. «Литература!» — однажды проговорился он.

Наконец, громынул колокол настоящей славы.

Четыре дня подряд «Засменка» печатала полосные сочинения Скока про великолепных героев. Они иллюстрировались редакционным художником, а не фотографиями и потому выглядели как будто это рассказы, но из нашей жизни. Газета стала выходить к той поре пять раз в неделю, а цикл сочинений Джурки Голсуорси превратился в настоящий триумф. Четыре номера кряду! Над каждой полосой имя Джурки вверху, крупным шрифтом, без дураков, курсивом, будто писаные от руки. По содержанию они походили друг на друга, эти сочинения. Во всех ребята всегда воюют. С какими-то начальниками, с конкурентами из других бригад. Живут справедливо! Бодро! Завидно!

Четыре дня коридор возле нашей аудитории привлекал разнонародье с разных факультетов, на Джурку приходили посмотреть из соседних корпусов, а наша ближняя, филологическая и, значит, девичья публика будто открывала Скока второй раз,

только теперь, кажется, разглядев. И мы попадали под лучи его славы. С нами тоже вежливо раскланивались, будто мы вроде как славные подмастерья великого классика и где-то во тьме размешивали художественные краски нашему другу, создававшему чудесную живописную сагу. В этой путанице совсем незаметной проскочила деловая заметка Минибая, в которой он в пух и прах раздолбал железнодорожное депо.

Но цветущая ветвь славы обломилась на пятый день с ее начала. Прозвенел обычный звонок, мы вышли с лекции в коридор, и к Джурке двинулись несколько здоровенных парней. Не все они были выше его, но все — шире в плечах, да и все гораздо нас взрослее: молодые и крепконогие мужчины. Джурке они дерзко приказали выйти с ними, он испуганно повернулся к нам, пытаясь улыбнуться, и сам, еще ничего не понимая, воскликнул:

— Это мои герои!

— Иди! — Один толкнул его в плечо самым грубым манером. — Герой!

Они быстро скатились по лестницам при полной растерянности случайных свидетелей и вышли на улицу. Повторюсь — была зима, хоть и ее конец, снег надежно укрывал околоуниверситетские грязи, а балконы еще законопачены. В окно мы увидели, как мужики вывели Скока прямо на проезжую часть и стали ему что-то выразительно выговаривать. Махали руками. Указывали на что-то, даже вверх, на небо. Потом один, самый рукастый, протянул длань, и Джурка свалился. Этого мужика схватили другие, но он все рвался. Джурка вскочил и отбежал. Он что-то грозно кричал своим обидчикам, даже, похоже, матюгался и размазывал кровь, черневшую под носом.

Промедленье было постыдным, и мы молча кинулись на выручку. Но пока, перескакивая через ступеньку, скатились со второго этажа и вылетели на дорогу, мужики уже заворачивали за угол, а Джурка шел навстречу нам.

Он и в самом деле матюгался, трясясь, вытирал кровь, идущую из носа. Ни на какие вопросы отвечать был не в состоянии, так что нам оставалось довести его до большого нашего туалетища, на десять, между прочим, очков, где он прильнул головой к струе ледяной воды в умывальнике и постепенно утих.

Он так там и досидел до конца занятий, утирался, протирал платком голову, да и мы ему еще свои отдавали, уходя и возвращаясь. Потом появился Пудоль. Не снимая пальтеца, он заглянул прямо во время лекции в аудиторию и, вежливо обратившись к лектору, попросил Джурку. Мы громко указали, где он. Тут же отпросились выйти. Нам радостно дозволили — ведь радовался-то поначалу весь корпус.

Мы догнали Толю при подходе к значному месту. Он как-то споткнулся перед ним, но вошел: и то верно, разве это подходящее место для разговора? Джурка сидел на батарее, курил одну за другой сигаретки, и лицо его от сильного, выходит, удара посинело и отекло. Пудоль встал перед ним, помахал шапкой, которую держал в руке, чтобы разогнать табачный дым. Сказал:

— Ну здесь же невозможно! Идем!

Мы зашли в ближайшую аудиторию, вежливо попросили каких-то девчонок покинуть ее, объяснив просьбу предстоящим мужским разговором. И Толик сказал, так и не снимая пальто.

— Ребята, — проговорил он, оглядывая по очереди наши фигуры — Минибая, Якова, Игорька, меня. — Что же вы делаете?

Никто из нас ничего не понимал.

— Я так старался, Джурка, — говорил Пудоль, теперь уже обращаясь к нему одному. — Так жал на Эльзу и главного. Так за тебя бился! И вот...

Он помолчал и тихо сказал:

— Завтра заседание в обкоме. Главному дадут выговор. А меня, скорей всего, уволят.

— За что? — воскликнул Минибай.

— Да за то, что он все выдумал. И все перевернул с ног на голову! Одних приукрасил! Других обосрал! Извините за выражение! И сделал это ошибочно!

— Да я, — жалобно заговорил Джурка, — писал очерк, почти рассказ. Ведь литература всегда борьба добра со злом!

— Охо-хо! — вздохнул Пудоль. — Добро со злом, конечно, борются, но зачем же фамилии-то живых людей использовать, как тебе заблагорассудится? Ты что — Господь, чтобы назначать добряков и злодеев?

13

Когда отгремели скандальные раскаты, когда мудрый Яков очень просто выговорил вечную истину, что самое безопасное для брата-сочинителя — это давать герою произведения расписаться на последней страничке, когда редактору действительно где-то на небесах объявили выговор, Пудоль устроили выволочку на планерке, а самому Джурке — воспитательный карантин длиной в квартал, лишив его большей доли вознаграждения, настала тихая пора очищения.

И я вспомнил подзабытого Петефи:

Что — слава? Радуга в глазах,
Луч, преломившийся в слезах!

И новые мудрые мысли, и великие заповеди чаще всего приходят нам на язык в самый неподходящий мо-

мент. Не замечали? На этот раз Петефи пришел мне в голову, когда уже по весне, немало недель спустя, мы с Джуркой по оттаявшему асфальту подбежали к уходящему троллейбусу и вцепились в ручки, ведущие на крышу.

Хитроумные борцы за билетные доходы начисто спилили задние буфера на всех троллейбусах, и там, под длинными железными прутьями, оставались лишь два полукруглых отверстия — можно всунуть полботинка.

Мы это и сделали, каждый по ноге, и балансируя, прижимаясь к угрюмой стене электрической машины, помчались навстречу судьбе.

Тут я и крикнул Джурке великую цитату из Петефи. Он засмеялся.

— Лучше не сказать!

Будто освобождался от какой-то тяготы, да ведь и всегда так с нами происходит. Со всем подряд. Что-то сотворится, и кажется — конец всему. Но вот настанет весна, засияет дорога под солнечными лучами, ты успеешь вскочить на троллейбусный приступок, всего одной ногой и, опасно балансируя, вдруг встречаешь радостную истину.

«Луч, преломившийся в слезах!»

Впрочем, какая там слава! Мы и слово-то это не решились проговорить. Газетная работа, учил нас непререкаемый Зиновий Абрамович, — это не блеск, не треск, а самая что ни на есть чернуха, вполне сравнимая с трудом землекопа. При этом он напоминал и Маяковского, хотя тот говорил о поэзии: «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды!»

— И вам это предстоит, — не уставал он внушать прописи. — И вы ищите слова! Но — главное, проверяйте факты, переспрашивайте, если не понимаете, про одно и то же выясняйте у троих-четверых-пятерых. Десятерых, если надо. Не робейте зайти к начальнику, умеете спросить о неприятном — пусть объяснят! И судить — не торопитесь.

На задворках главной городской площади притулилось двухэтажное зеленоватое зданье, маленькая, когда-то частная, типография, превращенная временем в учебную типолaborаторию, и хотя управлял процессом коренастый человек, считавшийся директором, Зиновий Абрамович был тут главным. По крайней мере для нас. Показывал линотип, верстальную раму и стол под низко висящей яркой лампой в старинном квадратном абажуре. Учил знакам правки, какой сигнал означает разделение, соединение, вставку... Мне страшно нравилось тут все — и прежде всего запах краски, мерный стрекот линотипа, здесь — единственного, глава типографии, он же верстальщик, с остреньким и кривым шильцем в руке, которым удобно вытаскивать буквы

шрифта при наборе заголовка в — слово-то какое! — кассе шрифтов.

Может, оно было написано на моей физиономии — мое удовольствие, но я отсюда никогда никуда не спешил. Только, конечно, голод гнал к тете Дусе, а до нее остановок пять-семь, не меньше. «Искусство требует жертв», — сказал кто-то из великих, и я, бывало, опаздывал в столовку, особенно когда пристала пора самому что-то тут же написать, поправить, вычитать гранки, дожидаться, когда тиснут полосу, и снова расписаться, подтверждая, что за слова, сочиненные тобой, ты не сешь ответственность. Другие убегали, торопились отсюда, в конце-то концов, это не лекция, а практические занятия в типолaborатории. А я терпел.

В ожидании гранок, оттисков, да и просто так, мы оказывались совсем уж малой кучкой возле Зиновия Абрамовича, и он занимал нас разнообразными советами. Говорил, например, что нам надо использовать возможности большого города — ходить в театры, в музеи, причем музеи следует посещать не как все — походить да и забыть, — но штудировать темы, получать образование, которое университет не дает. Особенно он склонял нас сходить в Геологический музей.

Картинную галерею он как-то обогнул, сославшись на великого Бова, Бориса Васильевича Помяновского, нашего знаменитого преподавателя, — вспомним Моцарта! — а еще и большого знатока всех тутошних искусств, особенно каслинского литья.

— Вы слышали, — спросил, между прочим, — он только что выпустил первую о каслинских мастерах монографию. Продается в магазинах. Рекомендую.

Помяновский был худым, очкастым и очень шустрым. Только годы спустя я осознал необходимость всех тех его достоинств: он был и там-то и там-то, и одно заседание или занятие у него сменялось другим, а частными автомобилями тогда если и владели, то сугубо избранные. Вот он и скакал по городу — то на трамваях, то на троллейбусах.

Внешне он выглядел вполне доброжелательно — хотя до определенного края, — и не стеснялся своей поспешности. Однако на лекциях его о, например, импрессионизме моя голова вдруг начинала наполняться чем-то мягким и теплым, вроде ваты, и почти падала вниз. Падая же, пробуждалась, но ненадолго. Так что великая пора студенчества некоторых, наиболее волевых, обучала спать с открытыми — или полуоткрытыми — глазами, твердо удерживая шею. Наверное, среди причин была и удаленность импрессионизма, кубизма и всяких других «измов» от нашего реализма, огражденного простыми флажками: еда, сон, лекции, зачеты с экзаменами и проистекавшая из всего этого стипендия.

Заметив наше не вполне горячее отношение к истории искусств, Борис Васильевич однажды объявил:

— На следующей лекции расскажу, нарушая курс, про сто способов заработать деньги!

Аудитория взволновалась, а он угнетал:

— Вот вы дремлете, вам кое-что просто чуждо! И я вас не виню! Все в человеке соединено! Все шестеренки крутятся, помогая друг другу. Создают смысл существования! А всякое стремление — это как выстрел. Все ваши возможности приходят в движения! Вам не хватает выстрела над ухом! Короткого замыкания! Необходимо пробудить себя к действию!

Выходит, сто способов заработать деньги не выпали из концепции искусствознания, по Помяновскому. Ну как не поверить ему, вспоминая его предисловие при исполнении «Реквиема»!

Он с этого и начал через неделю. На лекцию приперся народ с других, даже старших курсов, опытные, можно сказать, волки. Ну ладно, волчата хотя бы!

Блистая очочками, Бова начал с искусства. В школах, сообщил он, а особенно в домах и дворцах пионеров не хватает специалистов по истории мировой культуры. Школы еще раскачиваются, а вот в пионерских заведениях все проще, можно ходить после лекций, за это дают деньги. Ясное дело, надо искусство-то знать. Хотя бы в общих чертах.

Наш вездесущий искусствовед много, конечно, чего насоветовал. Например, ходить с лекциями от общества «Знания», читать лекции обо всем подряд, хоть о звездах — но что мы знали про них? Это его отнюдь не шокировало. Пожалуйста — прочитайте брошюру про Утесова, запомните его детство да и названия песен — и вперед! «Все хорошо, прекрасная маркиза! Все хорошо, все хорошо». Он еще и пел, дурачась, завлекая наше братство в неведомые авантюры.

Девушкам он рекомендовал подрабатывать ночными сиделками в больницах — это нашим-то цыпам-филологиям? Парням постарше — грузовые работы на вокзале, но это уже наш народ освоил. И наконец, Помяновский подкинул забавную мыслишку. Хотите, мол, в театр за так ходить? Записывайтесь в массовку! И разъяснил: идите за кулисы в оперный театр, и там вас оденут в кого-нибудь. Ну не все же на сцене поют. Артистов-то раз-два и обчелся. Зато стоят сзади какие-то люди, одетые в царские одежды, в рыцарские доспехи. Они ходят, когда и куда скажут, открывают рот, если надо крикнуть — научат и кричать. Это — массовка. В балете есть кордебалет, но в этот самый кордебалет посторонних не пускают, там надо танцевать, и роли, даже самые третьестепенные, исполняют наученные артисты. А в опере — пожалуйста! Только слушай помощника режиссера. И прямо в конце всякого спектакля

такля, когда будешь сдавать одежды, тебе выплатят гонорар.

— Сколько? — кричала аудитория.

— Давно не ходил по сцене, — призадумывался профессор. — Да с четвертной, пожалуй.

Речь знатока длилась академический час, и много чего еще он тогда насоветовал. Но эта возможность — стать вдруг артистом без роли, ходить по вечерам на сцене в рыцарских — елки-палки — доспехах, кое у кого засела в мозгах.

14

И здесь самое время, пожалуй, порассуждать о связи культуры и голода.

Теперь это редко совпадающие понятия. А тогда, скоро после войны, связь такого свойства прослеживалась очень даже определенно.

Пару раз — и оба раза в читалках — в нашей, университетской, и в городской, — я видел, что люди, вполне, впрочем, молодые, лежали головой на книгах, раскрытых перед ними. Сперва на них поглядывали прохожие читатели, потом кто-то догадывался указать на это библиотекарям, и вот это я видел сам: их трясли, а они не могли проснуться. И похоже, это был не сон, а голодный обморок.

Пожилые библиотекарши знали толк в своих читателях, и вот в городской я увидел, что, безуспешно похлопав тощего парня по щеке, пожилая женщина побежала за кулисы книжного рая, а выбежала с чашкой горячего и, наверное, сладкого чая, потом, полуразбудив читателя, влила в него первый глоток.

Он как будто спохватился, обшаривал непонимающими глазами обступивших людей, потом возвратился в себя, допил чай, и его вывели на улицу, отправили воясы. В нашей же читалке обморочного просто



взяли под руки двое ребят покрупнее, вывели в коридор, похлопали по щекам, принесли стакан простой воды.

Что сказать! Читатели эти несчастные были просто голодными, а в читалку все-таки шли, хотя никто их не принуждал. Иногда я думал, может, им некуда было деться?

И еще одна, крамольная, вероятно, идея: а вдруг голодному человеку книги дороже, чем сытому? И театры, где идет, к примеру, «Князь Игорь»? Какие-такие сейчас князья? А тогда князь Игорь был защитой и опорой всех подряд.

Я и сам себя на этой мысли прихватил. Однажды шел с главпочтамта мимо кинотеатра «Совкино». Перевод до востребования я не получил, в первую попавшуюся столовку заходить показалось страшно.

Но какова логика такого бедующего персонажа? Он заходит в кинотеатр и за последний рубль покупает билет на фильм «Багдадский вор», из трофейных! И млеет от восторга, сжимается от ужаса, обливается наслаждением! И голод, представьте себе, отступает. Увы, на час двадцать. Чтобы потом с новой силой вонзить свои острые шила в пустое брюхо.

Я решил тогда оказать физическое сопротивление этому голоду. Не поехал ни на троллейбусе, ни на трамвае. Тем более для этого требовались три пересадки, а значит, троекратные расходы. А пошел пешком. Ничего особенного, просто голодный переход по большому городу. Дело было днем, и я успел застать тетю Дуся, правда, уже складывающую в ридикюль свои манатки. Но супчик вовсе не заслонил потрясшее меня впечатление.

Иногда, но мы выбирались в чудную уральскую оперетту. Странные ассоциации: на веселые спектакли лучше все-таки голодным не ходить. Радость плохо добирается до души. Тут сытость полезна.

Была и еще одна высокая стезя: изобразительное искусство. Я не забыл сообщения досточтимого Зинovieя Абрамовича, что у нашего Бова вышла монография про каслинское литье, и, углядев ее в книжном, не с первого подхода, подсэкономив капиталы, но все-таки ее укупил. Читал с удовольствием, немало, между прочим, просветившись. После чего подошел к замечательному искусствознатцу и попросил его автограф. Глазки у него вылупили явное удовлетворение, он просьбу исполнил легко и ловко, размашисто подписавшись, а я заметил ему, что в нашем доме, у бабушки, есть небольшая, но тяжелая и черная корова, похожая на ту, которая имеется на картинке в книге, и предположил: а может, она тоже каслинская! Он радостно закивал мне, подтверждая догадку, с интересом вгляделся в меня еще и еще, выяснил моя фамилию и пригласил

в картинную галерею: там открывалась выставка этого чуда уральских металлургов — ведь отливали такие фигуры из чугуна. Почему они и черными-то получались.

В клуб этот искусствоведческий мы с братвой затесались крайне скромно, прислонясь к стенам, в задних рядах, любуясь нашим Помяновским, который выглядел щеголеватым петухом с бабочкой у горла. Как тогда, на Моцарте.

Нас, конечно, не видел. А если и видел, внимания не удостоивал, ибо после доклада его окружил сонм бородачей и старушек, не нам чета.

Мы же, непонятно почему, проголодались, да и чугунные фигуры, включая черного Дон Кихота, не очень завораживали моих друзей, кроме Вовки Потникова. Приставший к нашей экскурсии почти случайно, он просто сиял от восторга. Скуластый от рождения и, как все мы, совершенно не сытый, отчего скулы выпирали как у узника Освенцима, Вовка своей улыбкой — со стороны-то неуместной, даже издевательской надо всеми этими музейными залами, — походил на что-то неуравновешенное, даже опасное. И уходить из залов не желал.

Возникла легкая перепалка, мои близкие стремились к еде, я опасался за Потникова, и компания расплолась. Мы прошлись по залам и раз, и два. Я обнаружил железную корову, похожую на бабушкину. Потом мы с Вовкой удалились в залы живописи, и он все вздыхал, повторяя, в общем, банальность:

— Ничего-то мы не знаем! Ничегошеньки!

Мне оставалось соглашаться. На выходе, которым так или иначе заканчивается всякая экскурсия, Вовка застрял у киоска. В ту пору даже и подумать нельзя было о сверкающих буклетах и солидно-матовых альбомах. Их просто выпускали очень мало. Да и на какие шиши мы бы стали их обретать?

Потому Вовка и споткнулся о доску, на которой, прижатые незамысловатой резиночкой, стояли маленькие, в почтовую карточку, репродукции великих творений мира. Это, впрочем, и были почтовые карточки. На обороте указывалось, кому и от кого, да еще и квадратик для почтовой марки. А на другом обороте — всемирное чудо!

Позвякав грошами в кармане, мы быстро сговорились, что для начала познания надо изучить искусство именно русское, а до зарубежного доберемся позже, со стипешки. И мы купили в складчину штук двадцать скромных полиграфических напоминаний о русской классической живописи. По дороге осмотрели их повнимательнее, в трамвае Вовка Потников сложил искусство в колоду и стал показывать мне по картинке, спрашивая, как называется и что за автор. Я его спросил без лукавства:

— А ты — чего? Рисовать умеешь?

Он не умел. И никто никогда в его роду ни о чем таком совершенно не думал.

— Но надо же когда-то? — спросил он меня, глядя в упор. — И кому-то?

Сначала этот эпизод с картинной галереей отошел в туман, подзабылся. Но когда через год я оказался в общежитии, да еще в одной комнате с Потниковым, да еще и кровати наши оказались стык в стык друг к другу, он спросил меня, когда мы готовились ко сну, почистили зубы и ходили по комнате в трусах и майках:

— А ты это помнишь?

И вытащил пачку цветных открыток с репродукциями, теперь уже не только русской живописи. А в ней карточек триста, не менее.

Вовка сказал:

— Давай вот перед сном повторять их, понимаешь?

Я понимал. И мы принялись показывать друг другу эти карточки. Спрашивая по очереди, какой художник, как называется картина. Остальной народ поначалу над нами похихикивал — а в комнате проживало еще четверо, — и вдруг они проснулись. Требовали включить в испытание их.

Помню, засыпал, а во сне все сменяли друг дружку эти чудные картины: Левитан, Куинджи, Саврасов. И еще Ван Гог, Рембрандт, Пикассо. Та студенческая коллекция включала все без разбора, и это, пожалуй, было неверно по каким-нибудь высоким правилам. Но правила бывают и невысокие. И от этого не становятся хуже.

Мне и сейчас вдруг во сне, совершенно удаленном от времени и пространства моего студенчества, вдруг ворвется каким-то двадцать пятым кадром неведомая картина, автора которой я не помню. Ни с того ни с сего.

И утром я не могу понять, что со мной было. Но было!

ПОВЕСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

САРА ХРИСТОФОРОВНА И ДРУГИЕ

1

В конце первого курса, где-нибудь в середине мая, наверное, еще до сессии, мы с Джуркой и Минибаем оказались возле Дома печати. Шли куда-то, не очень спешно, но и не слишком медленно. И тут из подъезда, смеясь и что-то договаривая, но в приподнятом настроении, выходят Толя Пудоль, наш патрон, вместе с главным что ни на есть редактором «Засменки». С этой

живой легендой, с поэтом, на слова которого про рябинушку пела песни не только столица Урала, мы были совершенно не знакомы. Но виноваты, что поделаешь! Память о славе и бесславии Джуркиного сочинительства витала и над этой легендой — ведь он получил какой-то и где-то выговор. Несколько метров, которые нас отделяли друг от друга, стали для всех нас, а особенно Джурки, не коротким, а длиннющим, хоть и молчаливым замыканием.

Наконец Михмих, сокращенный Михаил Михайлович, — и так его звал весь город, причастный к печатному слову, — широко улыбнулся и воскликнул, протягивая руку Джурке:

— А вот и злодей!

И сам же от этого расхохотался. Скок силился что-то сказать в оправдание, но Михмих не позволил.

— Все, все, — сказал он, — что прошло, то проехало! Ну, и чего же больше не заходите?

Теперь он вопросительно глядел и на нас с Минибаем, будто мы какие-нибудь вместе с Джуркой Кукрыниксы, например, и друг от друга неотделимы. Пудоль вышел из-за спины шефа и, торжественно указывая на меня, объявил, что я систематически освещаю фотографическое творчество на страницах столичного журнала, а Минибай силен в экономических темах, на что Михмих восклицал:

— О! О!

Потом он весело заговорил как бы ни о чем, вот какое дарование у человека! Какая, мол, погода, оглянитесь, какое небо! Как оживают улицы весной!

— Поглядите, мальчишки, на девочек. Они же на глазах становятся наряднее! Зимой кутаются в платки, а сейчас и шеи, и плечи свободны, природа побеждает и жизнь хорошеет!

Вздохнул как-то обреченно и устало проговорил:

— Уж вы-то, надеюсь, живете полной жизнью!

Вот так или почти так он выразил свое настроение и заторопился:

— Приходите, приходите! Учитесь! Вы нам нужны!

Вот эта последняя фраза легендарного редактора нас крепко приглубила! Мы — кто мы, неужели именно мы — Джурка, Минибай, я — им, — кому им? — всей редакции, что ли? — нужны! Такого еще никто нам не отвечивал. Будто мы журналисты с именами! Будто мы и в самом деле кто-то такие, а не сопливые первокурсники!

Мы уже не шли, а летели, едва касаясь ногами асфальта, вперед, в затаенную горку, к скверу, где высился каменный председатель ВЦИК, а напротив зеленело здание чудесного театра оперы и балета! Бова зазывал нас поучаствовать там в мимансе! Нас! Людей, которых сам Михмих только что объявил нужными «Засменке»!

На скамейках в скверике у театра мы еще долго охорашивались, как потрепанные воробьи. Приводили в порядок свои растопыренные перышки, укладывали их в порядок.

— Выходит, — проговорил, улыбаясь, Джурка, — я реабилитирован!

— Бери тон пониже! — усмехнулся Минибай. — Прощен.

— А может, — предположил я, — тогда и ничего особенного-то не было? Ну какая-нибудь неточность! Но за что же — в морду-то!

2

Несмотря на нашу, а, выходит, и мою нужность газете, я никак не мог туда явиться. Мои школьные слабости совершенно не желали отцепиться от меня, будто репейник. Речь идет о французском, моей ахиллесовой пяте.

Ахиллесова пята, кто не знает, — это такое слабое место даже у сильного человека. А у нашего брата, студента тех пор, этих ахиллесовых пяток наблюдалось великое множество. Лично у меня, к примеру, и старославянский язык, как помните, и вот этот французский, а потом нежданно явится политэкономия социализма. Так что почти всякий из нас — кроме, разумеется, зубрил-отличников — походил на этукую сороконожку, хромящую на половину своих лапок, где на каждой своя ахиллесова пята.

И здесь я поведу речь о скрытом противоречии своей тогдашней судьбы.

Историко-филологическая принадлежность отделения журналистики на Урале не только угнетала. Но и возвышала! Кроме языков, нам читали историю! Курсы литературы, да и какой! Античной! Русской классической! Советской многонациональной! И зарубежной! И в этой зарубежной меня лично заклинило на французской. Ромен Роллан, Стендаль, Бальзак! Мы глотали их романищи и не могли насытиться плодами этих богов! А если уж наша щенячья стайка физически топталась на одних половицах, то и классику мы читали или одновременно, если в читалке было несколько экземпляров нужной романи, или передавая книгу из рук в руки и впадая в восторг, если не одновременно, то с небольшим разрывом.

Мы и имена друг другу из классики присваивали. Сами себе. Или нарекали сомневающихся. Я, например, был Люсьен Шардон де Рюбампре, что, конечно, ничего не сообщит не читавшим Оноре де, так что вкратце замечу — это был персонаж по-французски вспыльчивый, конечно же, добродетельный, не лишенный риска, но в то же время и оглядливый, таким образом, разумный.

В те времена знаки гороскопа не пользовались никакой популярностью, более того, может, даже были запрещены как мистика и суеверие, совершенно не нужные строителям грядущего общества. Но когда времена сменились и я прочитал, какими чертами обладает Дева, то есть я сам, мне просто жарко стало. Да это же вылитый Люсьен де Рюбампре!

Минибая почему-то назначили Жюльеном Сорелем, из Стендаля, Джурку — Жаком Ромена Роллана, наверное, потому что он на аккордеоне играл. Ну, хотя бы! За отсутствием роаяля!

Мы балдели от этой зарубежки! Учились изъясняться романическим стилем, строить фразы по обычаям их чудесных героев, соединяя это, конечно, с окружающим миром.

— Месье Жюльен, — обращался я к Минибая, например, возле тети-Дусиной кассы, — не желаете ли вы откушать жульен из дичи под названием «холодец с хреном»!

Не ахти какой юморок, но он проходил запросто, вызывая наш узкодружеский хохот. Не изучавшие зарубежную литературу, например психологи, не ценили нашего немотивированного ржания и не знали, к какой области психологии отнести эти дурацкие выкрутасы. А оттого слегка завидовали и злились.

Но! Обожая Бальзака, Стендаля, Роллана и сотни иных бессмертных французской литературы, я совершенно не ладил с французским языком. И некому меня было надоумить, вот что! Нашелся бы еще один мудрый Зиновий Абрамович или тот же искусствознавец наш Бова, сказал бы: парень, нравится тебе Бальзак, так прибавь к нему еще знание языка, на котором он писал! Это тебе может пригодиться! А вдруг поедешь собкором «Правды» в Париж, будешь там щеголять по Елисейским полям и клеймить современную французскую буржуазию!

Однако напомним иным и сам попробую понять то наше время.

Одна тысяча девятьсот пятьдесят третий, потом четвертый, затем пятый... Посоветовать студенту поскорей учить иностранный язык было не таким-то безгрешным делом. Могли не понять. Могли сказать, для этого есть институт иностранных языков, а не отделение журналистики, где вообще-то надо уделять повышенное внимание другим, вполне политическим дисциплинам. Мне самому не довелось испытать на себе, что такое оглядка, опаска, подозрительность, но в ком-то и, пожалуй, в наших преподавателях особенно, она была зарыта. И не так уж глубоко.

Конечно, просто сказать, слегка подтолкнуть — этого маловато. Требовались и другие, доверенные взрослые, чтобы, коли надобно, могли и внушить — учи язык! Но их не было! А собственная память совсем

недавнего детства, совпавшего с войной, велела другое: да пошли к черту все эти немцы с их немецким языком. Да и французы. Англичанцы и прочие шведы! Мы сами — русские! Увы, не был модным в ту пору иностранный язык любого народа. В юридический так вообще принимали без экзаменов по языку.

Что-то и еще останавливало нас. Но обожать Бальзака не мешало ничто.

3

А Сара Христофоровна меня просто-таки страшила. И во все не личностью своей. А если можно так выразиться, предметом, который преподавала и за незнание которого спрашивала.

Французский язык учило на всем-то курсе человек семь или восемь, причем с нашего отделения только двое — я да еще Тамарка Горохова. Маленькая и рыжеватая, с носиком-кнопкой, она походила на пупсика, да еще из местных. Местными мы называли тех, кто жил в городе капитально, с родителями, и появлялся только на лекции, тотчас растворяясь потом в городских квартирах. Лезли в трамваи, в троллейбусы и исчезали, а наша-то настоящая студенческая действительность только просыпалась.

Если же вернуться к французскому, остальные в нашей группе вообще все были девчонками: в деканате так сводили расписания, что на малопосещаемые предметы сходились студенты одного курса, но разных специальностей. И психологи тоже сидели на французском, и даже пара историков. Но все — девицы.

То ли этому полу проще даются языки, то ли я со всем уж отстал в сем изысканном предмете еще со школы, но чувствовал себя я у Сары Христофоровны полным изгоем. Девицы свободно осваивали склонения и спряжения, я глупо мусолил словарь — тогда еще не было коротких и ярких разговорников, которые бы хоть как-нибудь реабилитировали меня.

Сара Христофоровна, конечно, помнила меня по вступительным. И всю аргументацию в мое оправдание знала. Больше того, ведь я ее должен был почитать как свою благодетельницу. Не поставь она мне хотя бы ту несчастную тройку, где бы я обретался?

И еще Сара Христофоровна как-то по-особенному смотрела на меня. Сначала я думал, что она присматривается ко мне, потому что я самый непросвещенный. Потом — что я единственный парень, и во всем, что не касалось французского, человек как человек: довольно веселый и вполне настырный. Пару раз я попробовал завести на ее занятиях разговор о французской литературе, но пороха не хватило по двум причинам — большинство девчонок чистые филологини, у них зарубежную

литературу осваивали уж никак не слабей нас, и если бы я еще повел свою речь по-французски, а так...

И все же Сара Христофоровна имела обо мне какое-то особенное мнение. Почти сразу после поступления настала пора сдавать так называемые знаки, внеаудиторное чтение. Приходить с книгой на французском языке, сначала вслух читать несколько страниц, а потом тут же и переводить. Обычно принимала лаборант иноязычной кафедры Лидия Петровна. Но время от времени и сама Сара Христофоровна. Удивительное дело, она никогда не говорила со мной ни о чем, кроме французского. Я снова пожаловался ей, что в нашей школе, не самой дурной в городе, почему-то менялось за год по пять, самое малое, французов и француженок, хотя с немками и англичанками существовал полный порядок. И вот мне, выбравшему язык Бальзака и Стендала, теперь приходится платить за свою любовь, елки-палки. Она никак не реагировала. Не кивала, не сочувствовала. Просто смотрела на меня.

Я даже не смогу объяснить, сколько ей лет тогда было? Слегка за сорок? Под пятьдесят? А может, гораздо больше? Ее тяжелила полнота, и круглое лицо вполне могло бы выражать полное благодушие, если бы не какая-то незримая заслонка. Что-то не позволяло ей проявить ко мне интерес, выходящий за пределы обучения французскому. Как оказалось, бессмысленное.

Однажды, еще на первом курсе, она назвала мне книгу «Мари Роз» — о французском сопротивлении. И подсказала, что по этой книге, напечатанной на родном наречии, можно, оказывается, сдавать внеаудитору, а поможет та же книга, переведенная на русский и тоже присутствующая в нашей библиотеке. О боже! Да это оказалось спасением. Я заглядывал после лекций к Лидии Петровне — лаборанту по французскому — или подходил к Саре Христофоровне и вежливо спрашивал, могу ли, скажем, через тридцать минут зайти для сдачи знаков. Чаще всего они соглашались, а я бежал в читалку, хватал «Мари Роз» по-русски и по-французски и наглек, бывало, до того, что, не глядя в иноязычный текст — или глядя на него вкривь и вкось, — фотографически запоминал русский перевод. Сейчас бы ни за что такое не получилось. А тогда — как по маслу!

Потом я заходил к Саре или, лучше, Лидии, раскрывал во французской книге нужные страницы, кое-как прочитывал их вслух, абзац-другой, а потом начинал шпарить русский перевод.

Но и преподавательница моя круглолицая, и ее ассистентка не зря сами же выдумали сей прием. Особенно Сара Христофоровна бывала прекрасна! Она о чем-то глубоко задумывалась, иногда поправляла, ничем не выдавая своих чувств, спрашивала, сколько там я читал и напереводил, и сдержанно вздохнув, оставляла

свою подпись в специальной тетрадке. И вот таким же образом, и тоже вздохнув, в конце всякого семестра, она ставила мне четверки по французскому. Девчонки вокруг меня всегда и все получали пятерки, а я — свои проходные баллы для стипендии, и всегда мысленно благодарил Сару Христофоровну, пытаюсь заглянуть в ее коричневые, как спелые вишни, глаза.

Она уворачивалась, лишних слов мне не позволяла. А проговорила только два раза. Первый раз — в конце второго курса. Вписывая в зачетку третью четверку, она сказала мне:

— Хорошо, что любите Бальзака!

Я кивнул, не придав этому значения. Второй раз, в таком же положении, на зимней сессии, она подбодрила меня:

— Вы хорошо прошли практику! Вас хвалят!

Но я и тут ничто еще толком не сообразил! Только потом, когда курса после третьего закончились языки, я сообразил, что Сара Христофоровна просто давала мне жить. Всего-то-навсего! Увидела, что французский, если мне приспичит, я наживу. А потому не надо мне мешать. Жизнь велика, и она добавит. Если надо. Ну и если не надо — тоже.

Увы, милая Сара Христофоровна, французский я так и не нажил. Сожалею.

4

Второй курс мы приняли по-взрослому. Даже следующей, третий, не показался ступенькой высокой, а вот второй — оказался.

Из новинок — со второго курса начиналась артиллерия. Тогда в институтах и университетах существовали кафедры военной подготовки. Да еще какие! Нашу, например, возглавлял генерал и настоящий фронтовик! Ну а готовили всех нас, мальчишек, в артиллерию. И вот тут уж нашей кафедре, а за ней — всей армии и всей, конечно, стране, — было наплевать, какую мы себе присмотрели грядущую штатскую профессию — математиков, геологов, биологов или — славате-навоте! — журналистов.

Почему я так выразился? Да потому что все мы, поступившие на свою специальность, и отроду-то не были склонны к точным наукам. В алгебре, геометрии и тригонометрии — а эти науки проходили во всякой средней школе, — мы были слабаки! Только вздохнули, что от них избавились! И вдруг!

Первые же занятия — таблицы, расчеты, баллистика, дальность! И приборы, которыми надо овладеть! Я совсем духом пал — как это все можно понять и выучить? Да еще и командир нашего потока, рыжий, веселый, явный хохол майор Слинько, после вводной

горячей речи, где артиллерия называлась богом войны и даже цитировалась песня «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» — на второй половине военной пары вывел нас из-за столов, построил во дворе и повел к дощатому сараю, серому от долгих своих годин и внешних ненастий.

Мы стояли, не зная, к чему эти торжества, а майор ковырялся в заржавленном замке. Потом командир наш велел желающим распахнуть двери, передовики, которые всегда находятся в таких положениях, исполнили свое дело, и мы увидели в сарайной мгле огромного размера орудие, мрачно вззирающее на нас. А было нас человек сорок, которых соскребли со всех факультетов и представили этой осмысленной груде металла.

— Ну вот, — обратился к нам неунывающий майор. — Штатная команда ста двадцати двух миллиметровый гаубицы образца тысяча девятьсот тридцать восьмого года — семь человек.

По строю прокатился нервный шумок.

— Есть? — спросил Слинько. — Семь будущих от важных офицеров? — Он ехидно усмехнулся. — Которые не в будущем, а сейчас! Выкатят это орудие из хранилища!

— Есть! — раздались бодрые вскрики.

— Нет! — состязаясь с ними, провизжало большинство.

— И есть, и нет! — ухмыльнулся майор. — Ничего! Это всегда так!

И не унывая, стал расстегивать офицерский ремень на гимнастерке:

— Тогда давайте всей деревней!

Он и впредь будет понимать, этот чудесный майор Слинько, с кем имеет дело. Предположим, знал он и самое главное: никаких артиллеристов из нас не получится. Так и вышло! Но тогда мы бодро поскидывали пиджачки и куртки и все вместе облепили гаубицу образца тридцать восьмого года. Почти все до единого мы были чуточку постарше этого образца, потому, наверное, полагали, что выкатить-то эту железяку сможем без всяких-яких.

Майор расцепил замок, указал, как надо поднять станины одним, в то время как иные сдвинут колеса, а третьи выкатят чудище, упираясь в замок, щит и во все, во что только можно упереться.

О, эта была чудесная сцена! Славный наш командир уперся в огромное колесо, велел приготовиться и на счет «три!» всем вместе двинуть гаубицу вперед. Однако на счет три ничего не произошло.

Да нет, произошло! Кто-то громко, от всей души пукнул. Да так, будто это по крайней мере охотничье ружье жажнуло. Муравьи, вцепив-

шиеся в железо, повалились наземь и побежали в стороны! Хорошо хоть ни одной девчачьей души рядом не оказалось: артиллерия — мужское дело.

Под хохот и матерки мы гаубицу все же выкатили. И хотя майор был строг и пару раз повышал голос, показывая, как поднимается и опускается ствол, движется по горизонтали, как открывается затвор, и прочие чудеса действующего воинского образца, до которого мы, интеллигенты, так и не дорастем, всем становилось очевидно — свидание с воинским долгом пока что не удалось.

Но могла ли эта милая и вовсе не старая гаубица ответить нам тем же? Это еще предстояло узнать.

5

В один банальный день, по обычаю отсидев лекции, мы с радостной душой и пустыми желудками привычно кинулись в столовку.

Еще на подходе стакнулись с Яшкой-моряком и Игорьком Коробкиным — вид у обоих был более чем удрученный.

— Там сидит какая-то новая, — невнятно растолковывал Игорек.

— Тетю Дусю уволили, — развел руками Яков.

— Ка-ак уволили? — выдохнул я.

— А денег нет, — продолжал описывать свое положение бывалый Игорь. — И жрать нечего!

Мы кинулись в столовку, а там к кассе — и действительно — вокруг желанного гнезда тети Дуси вилась густая очередь и чужая женщина неумело тыкала в кнопки кассового аппарата, неумело принимала деньги и еще неумелее отдавала сдачу. Вывернув все карманы, мы кое-что схавали, не забыв наших ветеранов, и решительно отправились к столовским властям узнавать, что случилось.

Но двери были закрыты, буфет пуст, а поварахи смутно пояснили, что вроде у тети Дуси недостача, где-то ее допрашивают, что-то считают, а дирекция столовки находится там же, где и она, а вот где — неизвестно.

— Может, в милиции?

И Яков с Игорем, перебивая друг друга, предлагали идти вверх.

— Это куда? — спрашивал Джурка.

— В райком, — твердо рубил ладонью Яков.

— В горком! — не соглашался с ним Игорь.

В обеденный зал испуганно заглядывал народ, питающийся у тети Дуси в долг, кто-то что-то перекусывал, и постепенно возле нашего стола собрался кружок, обсуждающий, чего делать. Хочу жестоко заметить, что в

осадок выпали сущие единицы — человек семь-восемь: наш пятерик, потом присел Вовка Потников, еще двое, может быть, и все. Хотя сочувствовали и даже присаживались многие-многие. Тут же, однако, у всех находились важные дела и заботы, которые невозможно отложить. Даже из-за кормилицы тети Дуси. Сперва я взирал на эти отступления совершенно равнодушно, потом что-то заколыхалось внутри. Фраза сформулировалась незначай:

— Выходит, мы от нее отступимся?

— Пошли на кафедру, — поднял нас Джурка. — Хотя бы расскажем! Там могут и не знать!

— Там могут и не знать ни про какую тетю Дусю! — хмуро заметил морской волк.

И он оказался почти прав. На кафедре было чело- века четыре из взрослых, включая добрую к нам Але-втину Сергеевну, кафедральную лаборантку, была такая должность, но как только мы изложили вопрос, пара преподавателей предпочла заторопиться из кабинета, а Алеветина пояснила, что ведь столовая эта не имеет к кафедре ровно никакого отношения. Надо идти к про- ректору по АХЧ, что означало административно-хозяй- ственную часть, а его поймать нелегко.

Двое-то наших учителей вышли, подальше, мо- жет быть, от практики партийно-советской печати — так называлась эта кафедра, — но в кабинет вошел всегда строгий и всегда бодрый заведующий кафедрой, хотя даже и не кандидат наук, Борис Самуилович. Он еще на первом курсе читал целый курс о журналистике воен- ных лет, и его любимой темой был разговор об очерке Петра Лидова «Таня», напечатанный в газете «Прав- да». А это, кто не знает, первая статья о Зое Космоде- мьянской, девушке-партизанке, повешенной немцами под Москвой. Да и сам Борис Самуилович был фронто- виком — капитаном, артиллеристом, носил наградную колодку на груди, и вообще, партийно-советская печать в практике своих дел должна была говорить правду, от- личаясь от буржуазной, днем и ночью добиваться спра- ведливости, и на этот счет существовало в лекциях и се- минарах, окружавших нас, множество примеров.

Был Борис Самуилович всегда опрятно одет, при галстуке и свежей рубашке, и круглое его лицо, всегда открыто обращенное к нашему брату-студенту, было доброжелательным и светлым. Ни от каких вопросов не уклонялся, говорил дружески, терпеливо объясняя са- мые разные вещи, а как офицер-фронтовик в лекциях о военной журналистике являл собой абсолютного совет- ского патриота.

Он вступил в кабинет, увидел нас, улыбнулся, по- просил пересказать тети-Дусино исчезновение, понял суть беспокойства, посерьезнел и решительно пошел к телефону.

Дозвонился он тотчас, разговаривал приглушенным голосом, но отвечали ему, похоже, строго и даже убедительно, и междометия, произносимые Борисом Самуиловичем, стали наполняться сперва нетвердостью, потом неуверенностью, наконец он воскликнул: «Студенты просят! Студенты заступаются!» — но на том конце провода это, вероятно, не принималось как серьезный аргумент, и заведующий кафедрой, наш любимец, телефонную трубку как-то так очень аккуратно положил на место.

Может, так и кладут свои шпаги рыцари, проигравшие поединком?

— Да! — сказал он, поднимаясь и по-офицерски честно глядя нам в глаза. — Столовую эту обвиняют в обвесах и обмерах, а кассиршу — в пособничестве этому!

6

Ни фига себе! Такое слово — пособничество — встречалось в газете «Правда», когда обвинялись в неверности соратники югославского руководителя Иосипа Броз Тито. Или когда судили врачей, кого-то и как-то отравивших. Но тетю Дусю! Нашу тетю Дусю!

Дверь между тем открылась, и на кафедру вошла Люсетта, та самая, с которой я когда-то ходил в санпропускник. Я не поминал ее с тех пор, но на самом деле, как только видел ее, всегда улыбался. И даже был готов расхохотаться снова, вспомнив, как я ввалился в бабью баню.

Она вошла, как светящийся ангел, и произнесла всего две, но восхитительные фразы.

— Народ внизу собирает деньги, чтобы заплатить долг тети Дуси! И еще! Она — участница войны, фронтовичка и награждена орденом Красной Звезды!

Мы разом повернулись к Борису Самуиловичу. Может быть, мы повернулись к его офицерскому прошлому, совсем ведь еще недавнему! Он понял без лишних слов.

— Вперед! — сказал он, даже почти приказал. — Такой человек не мог красть у бедных студентов.

— Богатых студентов не бывает! — пошутил Минибай.

— Да мы за нее на плаху пойдем! — высокопарно воскликнул Скок.

— На плаху, пожалуй, излишне! — Борис Самуилович был снова на своем иронично-интеллигентном коне. — Но вот написать письмо в райком комсомола да сходить на прием к первому секретарю — я вам очень советую. Тем более что там этим секретарем наш аспирант-историк — да вы его наверняка и видели — Серафим Юрьевич Маментьев!

Он по-дружески улыбнулся нам и спросил:

— Почему бы студентам не защитить женщину-фронтовика! Которая к тому же кормит бедных студентов! В долг! За собственные же деньги, наверняка. А за какие еще-то?

В райком мы приперлись под закат, с письмом в руках и с уверенностью, что никого не застанем.

Не правда ли, есть в этом какое-то таинство, неизвестно откуда идущее? Ты на что-то надеешься и не можешь этого добиться, несмотря на всю подлинность твоих аргументов. И наоборот. Ты ни на что не надеешься, а все совершается идеальным образом.

Райкомовское здание оказалось невысоким, двухэтажным, вход со двора, уже темно, но все окна сияют, будто в праздник. Секретарша только спросила, откуда мы, и повторила слова наши по внутренней связи. А дальше все совершилось как в волшебном сне. Дверь распахнулась, и я увидел в проеме действительно знакомое лицо — русые волосы, зачесанные назад, интеллигентские очки без оправы и широкое, открытое лицо. У людей с такими лицами не бывает задних мыслей!

Мы вошли, сели за длинный стол и, протянув письмо, стали наперебой рассказывать первому секретарю, что думаем о тете Дусе.

Серафим Юрьевич молчал, слушал, а когда мы сказали, что кассир тетя Дуся фронтовичка, да еще Люсетта вытащила из кармана почтовый конверт, в котором лежал студенческий выкуп, включающий мелочь, которая тут же и покатила по столу, звеня и подпрыгивая (деепричастный оборот!), вскочил, молча отмерил несколько шагов. И повторил Бориса Самуиловича:

— Такой человек не может красть у студентов!

— Да она нас спасает! — воскликнула Люсетта.

Оказалось, последний аргумент, произнесенный женским голосом, очень часто играет решающую роль.

— Погодите минуту! — сказал Серафим и взял телефонную трубку. — Федор Тимофеевич, вот у меня студенты из университета! Принесли письмо в защиту фронтовички! Вы не раз говорили, что хотите с нынешним молодняком потолковать! Ага! Жду!

И через две минуты к нам спустился седой, очень взрослый, но и удивительно веселый человек с широкой колодкой наград на пиджаке. Мы уже догадались — секретарь райкома партии, ведь этот райком был выше комсомольского только на этаж.

Письмо про тетю Дусю он тут же прочитал, деньги отодвинул Люсетте, сказал, что мы молодцы, не поленившись прийти в свой райком, а дальше стал говорить о чем-то постороннем, как нам тогда показалось.

Спрашивал про то, например, где наши отцы. Кто погиб, где, на каких фронтах? Как чувствуют себя жи-

вые? Где и кем работают? Сколько, если мы знаем, зарабатывают? Про матерей расспросил, даже про дедушек и бабушек.

Все мы, сидевшие в том кабинете, были интеллигентами начинающими, как скажут потом ученые люди, в первом поколении, и многое нам казалось настоящим открытием. Вовка Потников рассказал про погибшего в блокаду отца, а потом неожиданно восхитился уральскими музеями, Скок, как мне показалось, не к месту, помянул первое полное исполнение «Реквиема» Моцарта, но тут секретарь партийного райкома толкнул локтем секретаря комсомольского и, убавив голос, спросил:

— А ты про это слышал?

Тот пожал плечами, шутнул:

— Пока еще не до «Реквиема»!

— Как знать! — рассмеялся Федор Тимофеевич.

И вдруг неожиданно стал серьезным и спросил:

— А что вы думаете о Сталине?

Напомню, шел пятьдесят пятый год. И о Сталине мы думали так, как чувствовали тогда почти все. Я, улыбаясь, сказал, что написал вступительное сочинение в университет именно о Сталине и знаю на память много стихов про него.

— Вот как? — не очень-то и удивился этот человек с орденскими колодками шириной в ладонь. И тяжело вздохнул.

— Вы ведь воевали? — спросил я неожиданно для себя.

— Еще как! — ответил он.

— И шли в бой за Родину, за Сталина? — спросил я.

— В том-то и дело, что шел. И других посылал.

Дядька этот, Федор Тимофеевич, не просто надолго запомнился мне, а как-то даже засел в мое под- сознание. Я видел его еще только раз, издали, и не

знаю, как сложилась судьба этого фронтовика с широкой орденой колодкой на груди. И детали всякие осыпались в памяти, как осыпается штукатурка со старой, да еще отсыревшей стены. Но вот внимательный взгляд, искреннее желание понять другое племя, совсем еще сопляков, пришедших за маленькой, но правдой, какое-то мало объяснимое воссоединение твердости, доброты и растерянности в его лице и словах не покидало меня, как достоинство, пока еще не постигнутое мной.

По правде-то, этот благородный силуэт сохранился, пожалуй, из-за краткости общения с ним. Поговори с ним подольше, а пуще того, поработай под его началом — все могло бы рассеяться, возможно, и даже перемениться на свою противоположность. Но тем и хороши краткие разговоры со старшими, что у молодых остается в сознании именно светлое, а примером-то служит оно, сохраняя и укрепляя веру в старшинство, его мудрость, силу да и личную славу.

Мы перли из райкома пехом, хотя рядом пронеслись троллейбусы, и, пораженные своей первой серьезной удачей, неустанно говорили и про Серафима, и про Федора Тимофеевича. И вообще — про все.

Нет, не зря целая орава восемнадцатилетних мальчишек и одна девица восхищались этим человеком. Нам очень требовался взрослый символ власти, конечно, мужчина, который бы слушал и слышал нас, был доступен и находился поблизости.

Да нам, обыкновенным птенцам, просто требовалась защита большой птицы, настоящего орла, хотя, ясное дело, орел будет кормить чьим-то мясом только своих собственных орлят, а что с остальной, слабо летающей, стаей?

Продолжение следует.